

«Лирика Вадима Муратханова начинается там, где стартует размышление об истинной геометрии вещей и событий, то есть – не стеснённой привычными параметрами зрения, выходящей за их пределы», – сказал о поэзии Вадима литературный критик Дмитрий Бак. По поводу геометрии, на мой взгляд, тут вопрос спорный, геометрия – это то, что можно измерить, а настоящая лирика чужда линейке и транспортиру. Здесь больше подходит сравнение с работой некоего живописца (и не случайно данный цикл стихотворений называется «Портреты»), который держит в уме целую картину, но потом как бы стирает её фрагменты, давая зрителю (в данном случае – читателю) возможность самому всё достроить.

Д. Л.

ИЗ ЦИКЛА «ПОРТРЕТЫ»

ЗИНА

Она помнит,
хранительница историй,
как ходили по коридорам маститые зубры,
оглашая раскатистым смехом
стены редакции.
Ей одной теперь памятны
их споры, привычки и почерки. А племя младое –
лишь выгодный фон для теней.

Новички –
безотказные слушатели –

в один из дней набираются смелости
перебить её, извинившись,
и навсегда отдалиться
от заговорщицкой детской улыбки
и пытливого взгляда сквозь толстые стёкла очков.

Ненавидит ремонты.
С каждым разом всё меньше
остаётся на стенах участков
с прежней символикой.
Всё реальной опасность
быть случайно сметённой в совок
среди пыли переустройства.

АНДРЕЙ

Широколицый любимец друзей и наставников,
сказки и ласки
ждёт он от повзрослевших подруг –
и те целуют его
в голову, как матери на ночь.

В тёмные дворы чиланзарских кварталов
он идёт расточать обиду.
Земляки-хулиганы помнят его,
но ничем не могут помочь.

Тогда, возвратившись домой,
долго смотрит с балкона,
вниз – на редких прохожих,
и вверх – на густые россыпи звёзд.
Потом подходит к столу –
дописывать начатое в детстве
стихотворение о любви.

СААКЯН

О ты, предсказывающая погоду –
женщина с бархатным голосом
по фамилии Саакян!
Реки вод, озёр и стаканов

тебе покорны.
Порошки, барометры и реторты
в башне твоей,
где корм получают птицы –
вестники дождей и туманов.

Каждое тёмное утро
ты диктуешь мне будущее
по телефону.

В этот раз продиктуй, о царица,
морозную ночь
с искрящимся снегом,
где хрустящий на миг прерывается шаг –
и девичий шарф
на перилах за снеженных.

Для Тараса и Даши,
для Аваза и Паши,
и дальше, и дальше,
на юг и на север –
для сестёр и братьев моих,
уставших от слякоти плакать.

КАТКОВ

Доктор Катков,
вырезавший мне гланды,
помню боль от твоих блестящих щипцов,
смутно – руки в рукавах белоснежных и плечи,
и совсем не помню лица.

Ветер колышет
жёлтые травы.
Полустёртый портрет на гранитном камне
возвышается над оградками пациентов.

ГРИГОРИЙ ХАСАНОВ

Не в песнях –
наивных своих ровесниках –

отразился со всей полнотой,
а в осенних нукусских лужах,
в двухметровой шинели
над ними ступая
задумчивым шагом.

АЛИДЖАН

Слагались буквы в длинные слова,
слова – в рассказ. И был язык рассказа
несходен с языком родного кишлака.
В соседней комнате,
раскачиваясь в такт,
читала мать молитву.

«Сегодня триста строк, два материала», –
навстречу он встаёт из-за стола,
и тихая в лице разлита радость.

А дома златозубая жена
детей, благочестивую награду,
зовёт, чтоб поздоровались с отцом.
На жёлтом лакированном шкафу
восточный бог,
подняв глаза от книги,
кивает с одобрением...

ИГОРЬ

Распряmlённые гирлянды негативов,
бумага под красным фильтром
и стрекочущий магнитофон –
всё вернётся завтра
к рабочему месту.

Чужая кассета
неизвестной арт-роковой группы
заменит обед,
начальство снимки вернёт, не заметив
малых успехов в работе.

За изношенный свитер ругают.
Спи, Игорь, поздно уже.
Пусть глаза отдохнут, непривычные к свету.
Что на съемку надеть –
додумаешь завтра.

ИРИНА ДОРОФЕЕВА

Память теперь
на осколки распалась, Ирина.
Танец на школьном вечере, запах
тринадцатилетнего тела.
Руки неловко держу,
словно конфликт, предваривший знакомство,
ещё не исчерпан.

Вот ты идёшь по двору
с белоснежной собачкой.

Вот сидишь на скамейке с гитарой,
в окруженье соседских парней
голосом резким поёшь
никому не известные песни.

На койке лежишь.
Мать в изголовье
кажется далёкой и маленькой.
Сегодня не станешь ходить допоздна,
не заставишь её волноваться.

Восемь лет не кормлена
собачка с розовым бантом.
Восемь лет
мать выносит мусор сама.
Вновь и вновь
в кольце незнакомцев
выбираешь ты чёрный оконный проём
и два неумелых крыла.

САША КИРИЯЦКИЙ

Кто откроет пытливому юноше
Овидия и Горация,
если не он –
поэзии Наполеон,
низложенный многократно.

Очками на римском носу
не затуманены цели.
До первой измены –
невинные дети
его офицеры.

Они, что речам вдохновенным внимали
и радовали,
разносят теперь недостойную славу
о бедном своем императоре.

Ничего, опять по пескам надежд
пойдёт он нежными пятками.
Мир тысячелетний над головами невежд
раскрасит цветными пятнами.

Ибо его устами, его перстами
италийские правят свирели.
Ибо каждая строка
предсмертной станет
в захлебывающемся стихотворении.

В захолустном госпитале
мать угасает,
мимо снуют манекены.
Долго ещё не сойти с Земли –
пустынной Святой Елены.

МАРК

Молчаливое застолье, сверчки Уотерса.
Хранишь ли ты этот восторг
своей четвертинкой воспоминаний,
если вокруг Нью-Йорк?

В науке дружить,
засыпавшись раз,
не пересдашь экзамен.
Были друзья и подруги
посредственными преподавателями
с бегаящими глазами.

Всё теперь повторится
на другом языке.
Ракетку – в наследство старшему брату.
Провожать не позволил в аэропорт.
Обещал, что нескоро обратно.

Обещал не писать. Остаётся только
памяти стереоснимок засвеченный:
длинные ресницы,
красная бейсболка,
вечное золото раннего вечера.

ЛИДИЯ АНДРЕЕВНА

Сливаясь с паром,
плавится мороз.
Сугробов синие иголки
у школьного крыльца
покалывают зреньё.

Печальная наставница с чертами
Пьеро, вооруженная гитарой,
проводит вечер памяти. Одно
окно освещено
во всей огромной школе.

Вокруг Андрей, Татьяна, Света с Колей.
Возможно ли, чтоб вера не погасла?
Закат за новую зарю не примут –
и года не пройдёт, как снимут галстуки
и выбросят значки.

Приходит муж, чтобы романс исполнить.
Всего семь нот –
а за душу берёт.
И ненадолго вспыхивает вера.

Но вот уже допет троллейбус синий,
всё чаще Сева смотрит на часы,
и за окном стоит не наша эра.

САНДЖАР

Вот и ты отдалился
на почтительное расстоянье,
главный герой
моей остывающей юности.
Но, как прежде, бессильна рука
поместить тебя в рамку,
повторить узловатые пальцы на грифе гитарном
и тонкий изменчивый рот.

Ты всё тот же – пишешь, поёшь,
обрастаешь друзьями.
С каждым новым знакомством
растёт одиночество вглубь.
С каждой станцией новой
и новой прочитанной книгой
молчаливее острый язык.

Безымянные критики за далёким порогом
изучат твой почерк –
ничего не поймут, истолкут,
промолчать не сумеют...

ТУГОВ

На всё хватает времени теперь:
на внуков и прогулку в парк,
на книгу и на сон после обеда.
Приходит Тугов в шахматы играть,
раскачивает хриплый колокольчик.
Спокойно с ним, проигрывать умеет,
не просит всякий раз переходить.

Ветшает старый дом. Приходит Тугов
укладывать под пленку виноград.
Становится на шаткий табурет.

Лоза в руке шершава и упруга
и всех переживёт на много лет.
Вдова благодарит и ставит чай.
Покоится за батареей
потерянная внуками ладья.

Окончен труд, и вечер настаёт.
Двумя словами не с кем обменяться.
Пылится в памяти не пущенная в ход
беспроигрышная комбинация...